
Л. Н. ТОЛСТОЙ

СОЧИНЕНИЯ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО
В двух частях. СПб., 1864
(Издание Ф. Стелловского)

— А что, барин, ваше дело — господское.
— Что, — спросил я.
— Дело-то, дело — господское, — повторил он, шамкая беззубыми губами.
Л.Н.Толстой. «Юность»

Статья первая

Что делает в последнее время наша поэзия? Чем заняты умы наших людей, одаренных творческою силою?

Работа наших творческих сил заслонена и отодвинута на задний план всякого рода историческим движением, так шумно совершающимся теперь на нашей родине. Но тем не менее эта работа продолжается: поэзия делает свое дело. И должно считать даже весьма замечательным явлением, что среди той шумной сумятицы мнений и направлений, которая у нас недавно господствовала, среди того общего упадка внимания к литературе, того все более и более возрастающего равнодушия читателей, которое последовало за этой сумятицей, наша поэзия делала свое дело, свое настоящее дело.

Это дело всегда одинаково: оно во все времена устремлено на раскрытие, как говорится, тайн души человеческой. Так было и в наше последнее время. Внутренний вопрос души, уяснение се-

бе идеала душевной красоты — вот куда были обращены помыслы наших творческих умов. И если мы внимательно взглянем в то, какие ответы даны на вопрос, как поставлено его решение, то найдем немало достойного размышления. Тут сказалось верное слово, может быть, слабым и неполным образом, но сказалась боль и радость русской души, отразилась и наша всегдашняя сущность, и та минута, которую эта сущность переживает в ходе нашей истории.

Возьму здесь пока трех наших писателей: Тургенева, Писемского и гр. Л. Толстого, причем нисколько не думаю равнять их по таланту. Дело не в этом, а в том, что все они несомненно одарены поэтической силой. Тургенев в прошлом году напечатал свое «Довольно», а Писемский «Русских лгунов». Оба эти произведения незначительны по объему, но они очень замечательны потому, что и то и другое дает ключ к уразумению остальных произведений этих двух писателей. Так, иногда невольно вырвавшееся слово или восклицание объясняет нам многие действия и речи человека. Что касается до гр. Л. Толстого, то полное собрание его сочинений, вышедшее в позапрошлом году, мне кажется, всего удобнее может подтвердить главную мысль настоящей статьи, почему мы остановимся на них в особенности.

Что изображает нам Тургенев в своем «Довольно»? Русского человека, художника, у которого гаснет свет, исходящий из сердца человека, который скрещивает ненужные руки на пустой груди. Как же это случилось? Как возможно, чтобы этот человек, мысливший, любивший, создавший художественные произведения, вдруг почувствовал, что грудь у него пуста, что источник желаний и радостей у него иссяк, что ему нечем жить и не для чего жить? Если такие явления есть в русской жизни, если эта струна в ней отзывается, то стоит об этом подумать.

Не сломала ли тургеневского художника жизнь? Не подвергся ли он тяжким страданиям и несчастиям? Вовсе нет. В прошлом, по его собственному уверению, все светло у него. Его жизнь, как он сам говорит, проходила в том, что он *нежился сладкой негой неопределенных, но пленительных ощущений, бежал за каждым новым образом красоты, ловил каждое трепетание ее тонких и сильных крыл.*

Нет, он не страдал и не страдает. Если б у него было горе, то грудь его не была бы пуста: ее наполняло бы это горе, хотя бы и терзая эту грудь. Но самое горькое, как видно, не то, что у человека есть горе, есть то, что обыкновенно называется горем; самое горькое то, когда человек почувствует себя неспособным страдать, неспособным носить в себе горе. Вот в чем его горькая беда.

Точно так, — сам он говорит, — ему страшно то, что нет ничего страшного, что ему нечего бояться.

Человеку не по чем страдать и нечего бояться — да это ужасно! Значит, нет для него ничего дорогого, о чем бы радовалась и печалилась душа, что было бы источником и надежд и страха.

Но откуда же могло возникнуть такое душевное настроение? Как возможна такая мертвенность души? Люди гоняются, пишет художник, за вздором, две тысячи лет назад осмеянным Аристофаном...¹

Смех? Отчего же нет? Смех — тоже живое явление. Если человек может смеяться ярко, с увлечением, если грудь его полна злобы, веселости или насмешки, то это не будет пустая грудь. Но самый великий вздор выходит тогда, когда человеку нечего называть вздором, так как все уравнилось перед его глазами; самую горькую насмешку вызывает тот, для кого уже ничто не горько и не смешно.

Итак, откуда нам сие? Коротенький рассказ художника прекрасно изображает нам это настроение духа, но, к сожалению, нимало не исчерпывает вопроса. Рассуждения, в которые он пускается, нисколько не помогают объяснить недостаток жизни в его сердце. Его мирозерцание интересно лишь потому, что вполне гармонирует с его душевной пустотой. Вот оно в его собственных словах:

«Бессознательно и неуклонно покорная законам, природа не знает искусства, как не знает свободы, как не знает добра; от века движущаяся, от века преходящая, она не терпит ничего бессмертного, ничего неизменного...

Человек — дитя природы; но она — всеобщая мать, и у ней нет предпочтения: все, что существует в ее лоне, возникло только на счет другого и должно в свое время уступить место другому.

Где же нам, бедным людям, сладить с этой глухонемой, слепорожденной силой, которая даже не торжествует своих побед, а идет, идет вперед, все пожирая; как устоять против этих тяжелых, грубых, бесконечно и безустанно надвигающихся волн?»

Итак, мир есть слепорожденная, глухонемая сила, которая, не ведая ни искусства, ни свободы, ни добра, от века движется своими тяжелыми, грубыми, но неотразимыми волнами, а человек — дитя этой силы, наравне с другими ее детьми, без всякого предпочтения от всеобщей матери. В конце концов выходит, что наше искусство, наша свобода, наше добро — призрак, обман, которым мы только тешимся.

И здесь, как и в тысяче других случаев, нужно помнить, что не мысль создает человека, а человек мысль; не это мирозерцание

опустошило грудь нашего художника, а, наоборот, пустая грудь подсказала ему такой безотрадный взгляд. Прекрасно выразился об этом предмете покойный Аполлон Григорьев.

«Наши мысли вообще,— пишет он,— если оне точно мысли, а не баловство одно — суть плоть и кровь наша, суть наши чувства, вымучившиеся до формул и определений. Немногие в этом сознаются, ибо немногие имеют счастье или несчастье *рождать* из себя собственные, а не чужие мысли» («Эпоха», 1865, февр. Нов. письма, стр. 164).

Таким образом, Тургенев после целого ряда людей, пораженных душевною пустотою, после всех лишних людей, не знающих, что делать с жизнью, или, как Гамлет Щигровского уезда, живущих в поте лица, словно в подражание разным изученным ими сочинителям, после всех этих комических и жалких фигур Тургенев, наконец, выставил нам грандиозную фигуру, изображающую, однако же, ту же самую пустоту души, то же самое малодушие.

От Тургенева, от этих страниц, которые все еще благоухают, где все еще слышно трепетание *тонких и сильных крыл красоты*, обратимся к Писемскому. У этого писателя есть своя определенная задача, которой он остается верен. Он сам так ясно сознавал служение этой задаче и столько гордился им, что с великою смелостию назвал однажды свой путь *единственно честным путем*. Читатель найдет это место в той части «Взбаламученного моря», где автор выводит на сцену самого себя и заставляет другое лицо произносить суждение о своей повести «Старческий грех». Тут же встречаются и насмешки над Майковым, Полонским и в особенности над Тургеневым.

Путь Писемского — изображать пошлость пошлого человека, и в особенности изображать ее там, где она прикрыта фальшивым блеском благородства, ума, изящества и т. д. Писемский постоянно изображает фальшь и беспощадно обнажает то, что под нею скрывается. Поэтому такая тема, как «Русские лгуны», совершенно в его духе, непременно совпадает с его *единственно честным путем*. Но на этот раз обнаружилась странность, которая, как мне кажется, прекрасно объясняет, откуда идет этот единственно честный путь, откуда такое упорное и неутомимое искание фальши. Г. Писемский пробовал искать фальши даже в сфере таких событий, как Крымская война или освобождение крестьян, и ему замечено было, что это искание без понимания самого смысла великих событий, — дело неуместное. В настоящем случае сущность единственно честного пути обнаружилась еще проще и определеннее. Именно, совершенно неожиданно в число «Русских лгунов» попал

Ромео, известный герой известной шекспировской трагедии. В заключение рассказа «Красавец», где изображается фальшь страстной любви, г. Писемский обращается к своим читательницам таким образом:

«Смеем вас заверить, что сам пламенный Ромео покраснел бы до конца ушей своих или взбесился бы донельзя, если бы ему напомнили, букву в букву, те слова, которые он расточал своей божественной Юлии, стоя перед ее балконом, — особенно, если бы жестокие родители не разлучили их, а женили!»

Итак, самая любовь Ромео и Юлии есть фальшь, такая же фальшь, какую напускали на себя герои и героини г. Писемского и под которою, как это весьма искусно показывает г. Писемский относительно своих героев и героинь, скрывается одно простое живое сластолюбие. Человек, впавший в такую фальшь, должен потом всю жизнь беситься и краснеть при воспоминании о ней, и в особенности будет беситься и краснеть, если женщина, которую он полюбил, станет потом его женою, матерью его детей и проживет с ним долгие годы.

Дело весьма замечательное. Великий поэт Шекспир изобразил нам любовь; он записал, от слова до слова, речи, которые Ромео расточал Юлии перед балконом. Русский писатель г. Писемский находит, что все это фальшь, что за эти речи вчуже становится совестно и стыдно. Итак, образ прекрасных мыслей и чувств, данный Шекспиром, не годится. Но есть ли у русского писателя свой образ, которым он вправе был бы заменить шекспировский? Увы! как ни ищите в сочинениях г. Писемского, там не найдется ни единой черты этого образа; в действительности, которой он так усердно держится, существует, по его изображению, одно животное влечение.

Бедная русская жизнь! Она порождает людей с пустою грудью, которым нечем жить и незачем жить, а шекспировские образы для созерцателей этой жизни кажутся пустым ломаньем, несносною фальшью! Не думаю вполне соглашаться с этими печальными заключениями, но полагаю, что важно и любопытно исследовать тот недуг, который отзывается в настроениях и взглядах, дающих повод к таким заключениям. Есть, очевидно, какое-то зло, по которому нам смешно и странен любой шекспировский герой, по которому мы не можем подчас дать себе отчета, зачем человек живет на свете.

Особенно удобно заняться разбором этого дела на произведениях гр. Л. Толстого. У Тургенева зло, о котором идет речь, сквозит, очевидно, помимо его воли; оно не составляет прямого объекта, который он имеет в виду; Тургенев, насколько мог, искал

и изображал красоту нашей жизни. Писемский изображал ее безобразием и фальшью, но совершенно наоборот, не сознавая отчетливо, во имя каких идеалов он казнит это безобразие, так что иногда выходило, что безобразие имеет все права существовать, так как оно-то и есть истинное и действительное явление, а все остальное только фальшь и призрак. Только у гр. Толстого задача, которая нас занимает, поставлена прямо, то есть прямо рисуются люди, у которых идеал оскудел, которые ищут прекрасного образа мыслей и чувств и страдают среди этого искания.

Сочинения гр. Л. Толстого представляют в этом отношении книгу прекрасную и в то же время глубоко-печальную. Она прекрасна по мастерству, которое можно сравнить с тургеневским, по правдивости, которая не уступает Писемскому, и по душевной теплоте и силе, которою, может быть, превосходит того и другого. Любовь есть та сторона жизни, которая своею красотой всего доступнее людям; любовь может хотя на время наполнить самую опустошенную грудь, оживить самую мертвенную душу. Поэтому понятно и то, что художник Тургенева отыскал-таки в своей груди следы любви, ее наполнявшей. Граф Л. Толстой, мне кажется, еще теплее и живее Тургенева понимает это чувство, еще правильнее к нему относится. В его любовной поэме «Семейное счастье», несмотря на некоторую дробность и, так сказать, напряженность анализа, чувство любви и вся его история выяснены в живых и полных чертах.

Есть у графа Л. Толстого еще и другие страницы, в которых красота жизни уловлена с необыкновенною ясностью. Это — описание детства. И опять, прелесть детства, этих свежих ощущений, когда новому жителю мира

новы
Все впечатленья бытия²,

эта прелесть редко бывает заглушена в ребенке даже самым тяжелым положением и потому знакома всем даже в таком обществе, которое страдает пустотою и мертвенностью.

Любовь и детство нашли себе выражение в книге гр. Л. Толстого. Но не в них заключается главный центр тяжести книги; эти светлые стороны изображены правдивою рукою художника именно для того, чтобы резче оттенить его главную мысль, его глубокую и печальную думу. В книге много разнообразия, но главная ее мысль постоянно царит над рассказом, чего бы этот рассказ ни касался, и сообщает всей книге отпечаток тяжелой грусти.

В чем же дело? Толстой каждому, конечно, известен, как большой мастер в анализе душевных явлений. Но какой характер имеет этот анализ? В чем заключается его источник, его первая дви-

жущая причина, от которой необходимо зависит его направление и цель? На это можно бы отвечать, что анализ нашего автора — просто его художественная потребность, просто преобладающая черта его таланта. Ответ этот действительно годится для некоторых мест книги, именно для тех, где, как в «Семейном счастье» и «Детстве», художественная сила идет наравне с анализом, вполне им владеет, употребляет его как орудие, дающее полноту образам и краскам. Но в других местах анализ, очевидно, играет другую роль и служит сам по себе удовлетворением какой-то потребности, говорящей в душе художника помимо его стремления создавать образы.

Во-первых, этот анализ постоянно имеет в виду совершенную *правдивость*, постоянно вооружен против всякой фальши. Что бы ни рассказывал художник, его явным образом томит забота не отступать ни на йоту от верности действительности и не поддаваться никакой, даже самой тонкой и едва уловимой фальши. В этой черте гр. Л. Толстой сроден с Писемским, и это весьма характеристическая черта их как русских писателей. Наш художник как будто прежде всего боится впасть в обман, прежде чувствует недостаток истинной красоты, вообще истинного содержания в окружающих его явлениях и потому постоянно настороже, постоянно озабочен и затруднен и думает уже не о красоте, а только о правдивости, о том, чтоб самому как-нибудь не сфальшивить, не принять миража за действительность.

Мы, русские, вообще — люди серьезные и не любим ничего внешнего, никакой риторики, никакой шумихи и высокопарности. Для нас кажется лишним всякий избыток в проявлении внутреннего чувства. Тем более нам противно всякое выражение, преувеличенное в сравнении с содержанием. Мы — народ скептический и насмешливый и вместо того, чтобы находить наслаждение во внешнем излинии внутренних движений, готовы подсмеяться даже над самым искренним и истинным их выражением. Эта черта, с одной стороны, представляет некоторую душевную стыдливость, то есть постоянную боязнь профанировать свои чувства, такое ощущение их святости и красоты, при котором всякая внешняя форма кажется негодною, несоответствующею. Таким образом, при постоянной насмешливости и отсутствии всяких внешних проявлений у нас сохраняется в душе огромный запас энтузиазма, тем более сосредоточенного, чем меньше он проявляется. Но, с другой стороны, неверие в форму, в выражение и неуменье найти эту форму и это выражение, граничат с цинизмом, то есть с отрицанием всякого энтузиазма, с неверием в самую законность и действительную силу душевных движений. Постоянно ко-

лебясь между этим цинизмом и этим энтузиазмом, мы, очевидно, можем быть удовлетворены только совершенною *правдою* и *простотою* как в жизни, так и в художественных произведениях.

Вот коренная черта нашей литературы, и она с большою силою отзывается в произведениях графа Л. Н. Толстого. Посмотрим же, что он нашел в нашей жизни, приступив к ней с этим требованием русской правдивости. Если вникнуть во все подробности этих мастерских произведений, то окажется, что они с поразительной яркостью рисуют нам *душевную пустоту*, которою страдают русские люди и которою они, без сомнения, еще долго будут страдать. Анализ гр. Толстого весь направлен к тому, чтобы отыскать истинно живые явления в душах людей. Это не простая поэзия, которая свободно сочувствует каждому живому явлению и свободно воплощает его в художественные формы. Нет, это упорное искание красоты и жизни и, следовательно, непременно — анализ, рассечение, доискивающееся до живых частей и отбрасывающее мертвые. В этом случае свойства таланта оказались вполне соответствующими предмету. Пустота и малодушие, если составляют не комическое явление, а действительное страдание, так сказать, серьезное состояние человека, — не дают пищи поэзии, не могут быть источником художественных произведений, но именно всего лучше выразятся в анализе; это их настоящая форма.

В этом отношении гр. Л. Н. Толстой весьма замечателен и стоит прилежного изучения. В нем сказалась с большою силою жажда истинной правдивой жизни, ее искания и обнаружения пустоты того, что выдает себя за жизнь. Отсюда нужно объяснить и форму, и весь цикл его произведений. Центральную часть их составляют рассказы о личной судьбе героев, которые все молодые люди и, что называется, вступают в жизнь, впервые знакомятся с нею. Эти лица обыкновенно принадлежат к высшему классу, некоторые даже называются князьями, следовательно, вообще принадлежат к сословию помещиков, тому сословию, о котором до недавнего времени можно было сказать, что оно одно жило в России, и из которого поэтому брали свои картины и Гоголь, и Тургенев, и Писемский. Герои гр. Л. Н. Толстого обыкновенно *протестанты*, то есть они очень скоро отказываются от своего сословия, скоро находят, что в нем невозможно искать удовлетворения своей души. Затем они пускаются в жизнь, исполненные очень благородных, но совершенно смутных стремлений. Собственно, эти люди, потерявшие свой идеал, и которым жизнь, их окружающая, не представляет никакой точки опоры, никакого руководства. Они не имеют никакой определенной цели, никакого твердого желания. Они совершенно на воздухе и не знают, что им любить

и что им делать. Стараясь жить, то есть вступить в живые отношения к людям, они с изумлением замечают, что им жить нечем, то есть что они в своей душе не находят живых связей, не находят того сродства с окружающею жизнью, того притяжения к ней, которые нужны для образования этих связей. И вот, они рассказывают свои приключения, имея постоянно в виду свою томящую думу, рассказывают, чтобы показать, как ничтожны и пусты были в их душе все начатки любви, дружбы и вообще всяких живых отношений к людям. Даже смешные вещи, которые с ними случаются, они принимают серьезно. Им больно и не до смеха.

Таков центр, точка зрения. Понятно, что при таком душевном настроении в людях должно проявиться большое уважение к явлениям настоящей, правдивой жизни. Искание жизни дает понять, оценить и полюбить те явления, в которых жизнь проявляется несомненно. Отсюда возникает у гр. Л. Н. Толстого, как и у других наших писателей, очень тонкое понимание простого народа. В простом народе есть так называемая непосредственная жизнь, которая, какова бы она ни была, все-таки есть настоящая жизнь. Народ знает, зачем он живет и как ему следует жить. То же самое отношение, по которому так прекрасно изображена Наталья Савишна в «Детстве», руководило гр. Л. Толстым и в картинах из жизни казаков и черкесов.

Затем есть еще сфера, где присутствие жизни несомненно; это явление исторической жизни народа, это великие события, в которых внутренняя сила вещей проявляется помимо людской воли. Уважение к истории и умение понимать ее — вот самый трудный, но правильный результат искания жизни.

Но история совершается перед нами. На наших глазах происходила страшная борьба нескольких государств с Россиею, и узлом этой борьбы был Севастополь. Была, следовательно, возможность увидеть историческую жизнь лицом к лицу, так близко, как только возможно. Позволим себе сказать, что это желание входило в число побуждений, приведших гр. Толстого на бастионы Севастополя. Поэт был при обороне Севастополя и рассказал нам это событие, если не вполне, то все же в некоторых чертах, достойных самого события.

Но, повторяем, главный центр не здесь: главный центр в томительной думе об истинной жизни и красоте и о душевном бессилии, не дающем людям доступа к этой жизни и красоте. Мы попробуем в следующей статье анализировать эту думу и подтвердить выписками наши общие положения.

Статья вторая

В заключение одной из мастерских своих повестей (*Севастополь в мае 1855*) гр. Л. Н. Толстой как бы невольно высказал глубочайший мотив своей поэзии.

«Герой моей повести, — говорит он, — которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен — правда» (ч. II, стр. 61).

Тут разом высказывается и то, что поэт ищет героя, ищет прекрасных явлений жизни, и то, что он приступает к жизни с требованиями неподкупной правды, и то, что в своем строгом искании он не находит героя, не находит прекрасной жизни. Ему остается одно — признать свое искание за прекрасную черту, свои требования за нормальное явление. Так он и сделал, восхваляя свою правдивость.

Как мы уже сказали, поэт в своих поисках за жизнью и красотою приходил на бастионы Севастополя во время его обороны. И что же? По-видимому, он и тут не нашел героических черт. Оканчивая повесть, из которой мы привели заключение, он говорит:

«Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны».

Если бы это было последним словом автора, то отсюда следовало бы, что все явления, какие поэт нашел в русской жизни, безразличны, все имеют, так сказать, одну степень, все одинаково далеки от явлений прекрасной, героической жизни. Мы увидим, однако же, что не таков окончательный вывод, что тяжелым трудом наш автор достиг до других, более отрадных взглядов.

Но вот постановка дела. Требуется открыть героя на русской земле, то есть героя в смысле поэзии, такое лицо, которое можно было бы воспевать, которому бы можно было сочувствовать. И вот автор выводит нам целую вереницу лиц, могущих иметь притязание на сочувствие, и со своею беспощадною правдивостью доказывает нам, что они не герои, а люди малодушные и пустые, несмотря на употребляемые ими старания быть вполне хорошими людьми.

Что же это за люди? Одного из них автор определяет весьма отчетливым образом:

«Оленин был юноша, нигде не кончивший курса, нигде не служивший (только числившийся в каком-то присутственном месте), промотавший половину своего состояния и до двадцати четырех лет не избравший еще себе никакой карьеры и никогда ничего не

делающий. Он был то, что называется «молодой человек» в московском обществе» (ч. II, стр. 153).

Всякий заметит, что это старая история. Это тот же Онегин, который

Дожив без цели, без трудов
До двадцати пяти годов,
Без службы, без жены, без дел,
Ничем заняться не умел³.

Но процесс тоски, снедавшей Онегина, у этих людей стал глубже и определеннее, то есть симптомы болезни раскрылись в несравненно большей степени.

Воспитание — вполне похожее на онегинское. Николай Иртенев с величайшею живостью рассказал нам свое «детство» и «отрочество», и тут видно, что эти люди росли, не испытывая никаких нравственных и умственных влияний, которые бы помогли развитию их души и наложили бы на нее свою печать. Что до нравственного влияния, то Иртенев прямо говорит:

«Заботою о нас отца было не столько нравственность и образование, сколько светские отношения» (ч. I, стр. 102).

Что касается до умственного развития, то нельзя не обратить внимания на замечание Иртенева, что *история всегда казалась ему самым скучным, тяжелым предметом*, и нельзя не найти комическим следующий урок из истории:

«— Позвольте перышко,— сказал мне учитель, протягивая руку.— Оно пригодится. Ну-с.

— Людо... Кар... Людовик святой был... был... был... добрый и умный царь...

— Кто-с?

— Царь. Он вздумал пойти в Иерусалим и передал бразды правления своей матери.

— Как ее звали-с?

— Б...б...ланка.

— Как-с? Буланка?

Я усмехнулся как-то криво и неловко.

— Ну-с, не знаете ли еще чего-нибудь? — сказал он с усмешкой» (ч. I, стр. 63).

При этом рассказе невольно чувствуется, что из чужеземной истории, как она у нас до сих пор передается, нам всего доступнее

Лишь дней минувших анекдоты⁴.

При таком ходе дела было, однако же, одно влияние, которое обнаруживала окружающая среда на этих отроков и которое, разумеется, действовало на них очень сильно. Именно, на место раз-

личения добра и зла, света и тьмы, красоты и безобразия, в душах их было развиваемо понятие *comme il faut*⁵, понятие, — говорит Николай Иртеньев, — «которое в моей жизни было одним из самых пагубных, ложных понятий, привитых мне и воспитанием и обществом».

Род человеческий можно разделять на множество отделов — на богатых и бедных, на добрых и злых, на военных и статских, на умных и глупых и т. д.; но у каждого человека есть непременно свое любимое, главное подразделение, под которое он бессознательно подводит каждое новое лицо. Мое любимое и главное подразделение людей, в то время, о котором я пишу, было на людей *comme il faut* и *comme il ne faut pas*⁶.

Comme il faut было для меня не только важной заслугой, прекрасным качеством, совершенством, которого я желал достигнуть, но это было необходимое условие жизни, без которого не могло быть ни счастья, ни славы, ничего хорошего на свете. Я не уважал бы ни знаменитого артиста, ни ученого, ни благодетеля рода человеческого, если бы он не был *comme il faut*. Человек *comme il faut* стоял выше и вне сравнения с ними; он предоставлял им писать картины, ноты, книги, делать добро — он даже хвалил их за это, — отчего же и не похвалить хорошего, в ком бы оно ни было? — но он не мог становиться с ними под один уровень; он был *comme il faut*, а они нет — и довольно. Мне кажется даже, что ежели бы у нас был брат, мать или отец, которые бы не были *comme il faut*, я бы сказал, что это несчастье, но что уж тут между мной и ими не может быть ничего общего» (ч. I, стр.123).

Вот катехизис, который был внушаем этим людям средою, их окружавшею. Как не вспомнить здесь Онегина, который не прежде влюбился в Татьяну, как увидевши ее блестящей светской дамою, такую, что

Она, казалось — верный снимок
Du *comme il faut*⁷.

и который был очень удивлен, когда под этою внешностью нашел настоящую Татьяну, Татьяну не *comme il faut*, честную русскую женщину.

И большой Онегин, и маленький Печорин, несмотря на тоску, их грызущую, остаются, однако, в том обществе, среди которого родились. С героями гр. Толстого дело происходит иначе. У них рано начинается разлад с понятиями, привитыми обществом, и они уходят из своего круга и пускаются по всевозможным путям, ища иных людей и иной жизни для себя. Нехлюдов уходит в деревню, Оленин в казацкую станицу, другие

на Кавказ в действующие отряды, или в Севастополь, или даже, как Делесов, на петербургские щпиц-балы, чтобы встретиться там с Альбертом.

Разлад происходит не у всех, а именно только у тех, кого гр. Толстой избирает своими героями. Другие юноши легко сливаются с своею средою. Так, брат Николая Иртеньева, Володя, спокойно вступает на путь своего отца. Так, Белецкий, встретившийся с Олениным среди казаков, не чувствует ни малейшего разлада с жизнью.

«Общее мнение о Белецком было то, что он милый и добродушный малый. Может быть, он и действительно был такой; но Оленину он показался, несмотря на добродушное хорошенькое лицо, чрезвычайно неприятен» (ч. II, стр. 187).

Немудрено: между этими людьми нет ничего общего. Один принадлежит окружающей жизни, другой от нее оторвался. Один легко ко всему прилаживается, для другого всякое жизненное явление составляет задачу.

«Белецкий,— рассказывает далее,— сразу вошел в обычную жизнь богатого кавказского офицера в станице. Он подпаивал стариков, делал вечеринки» и пр. «Казак, ясно определившие себе этого человека, любившего вино и женщин, привыкли к нему и даже полюбили его больше, чем Оленина, который был для них *загадкой*».

Прибавим — загадкой и для самого себя. Далее, в разговоре с Белецким, Оленин сам выражает сознание своей разнородности с ним и с целым миром, к которому тот принадлежит. Оленин говорит:

«— Я знаю, что я *составляю исключение* (он, видимо, был смущен). Но жизнь моя устроилась так, что я не вижу не только никакой потребности изменить свои правила, но я бы не мог жить здесь, не говорю уже жить так счастливо, как живу, ежели бы я жил *по-вашему*. И потом, я *совсем другого* ищущу, *другое* вижу в них (женщинах), чем вы» (ч. II, стр. 189).

Вот эти-то загадки для себя и других, эти исключения из общего правила и составляют главных лиц, выводимых у гр. Толстого. Лица эти — несчастные, страдающие люди, в противоположность счастливым и довольным собою Володям, Белецким, Дубковым и всему множеству вообще. У наших героев есть только одно счастливое время жизни — не *юность*, которая, по ходячему романическому мнению, составляет лучшую пору каждого человека, не *неужество*, которое по сущности дела должно бы представлять полное раскрытие жизни, а *детство*, первоначальная пора, когда человека еще нет, а есть только задаток человека. Детство являет-

ся для них единственной светлой точкою. Вот как они говорят об нем в зрелых годах:

«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, как не лелеять воспоминаний об ней. Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений» (ч. 1, стр. 24).

«Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и силы веры, которыми обладаешь в детстве? *Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели, невинная веселость и беспредельная потребность любви, были единственными побуждениями в жизни?*

Где те горячие молитвы? Где лучший дар — те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и напевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению.

Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?» (Там же, стр. 25).

Конечно, можно считать очень несчастливymi людей, у которых есть детство, но нет юности и мужества в настоящем смысле. Жизнь, имеющая такой ход, очевидно, поражена глубокой неправильностью.

Что же случается? Как мы уже сказали, у героев гр. Толстого возникает разлад с окружающим миром. Процесс возникновения этого разлада описан у гр. Толстого со всею отчетливостью. Не то, чтобы окружающая действительность поражала этих людей своим безобразием или производила на них давление, из-под которого они старались выбиться, не то, чтобы в душе их существовали стремления, которые не находили себе пищи, существовала жажда деятельности, для которой не оказывалось простора: нет — дело здесь имело совершенно иной вид.

Среди той пустоты, того отсутствия влияний, в котором эти люди провели свое детство и отрочество, у них в известную пору, в силу внутреннего развития души, возникали идеальные стремления, чрезвычайно сильные и совершенно неопределенные. В этом была их беда, пощадившая других юношей. Свет возникшего идеала был так силен, что мир *comme il faut* исчезал перед ним без следа; идеал почти не удаивал бороться с этим миром. Таким образом, эти люди оставались наедине с собою, отрезанные от своей действительности. Но в то же время молодой позыв к идеалу не успеваеет сформироваться в определенные требования и желания. Недостает руководства, примеров, форм, слов и очертаний, которые помогли бы широкому и сильному идеалу, так сказать,

сложиться в определенный организм. Поэтому душа, если можно так выразиться, недорастает: являются страдающие люди, которые не знают, что им делать и как им делать, которые и в себе и в других постоянно отыскивают идеальную сторону жизни, мучатся ее отсутствием и иногда доходят до совершенного сомнения в ее существовании.

Перелом, которым начинается этот разлад, наступает в юности.

«Под влиянием Нехлюдова, — рассказывает Николай Иртенев, — я невольно усвоил и его направление, сущность которого составляло *восторженное обожание идеала добродетели* и убеждение в назначении человека совершенствоваться. Тогда исправить все человечество, уничтожить все пороки и несчастья людские казалось удобоисполнимой вещью, — очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить все добродетели и быть счастливым...» (ч. I, стр. 80).

Совершенно определенно эта эпоха обозначена несколько далее:

«Те добродетельные мысли, которые мы в беседах перебирали с обожаемым другом моим Дмитрием, чудесным Митей, как я сам с собою шепотом иногда называл его, еще нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли с такой свежей силой морального открытия пришли мне в голову, что я испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тотчас же, ту же секунду, захотел прилагать эти мысли к жизни, с твердым намерением никогда уже не изменять им,

И с этого времени я считаю начало юности.

Мне был тогда шестнадцатый год в исходе».

Тут же сказывается и неопределенность этих порывов, пробудившихся с такою силою.

«Этот пахучий сырой воздух и радостное солнце — говорили мне внятно, ясно о *чем-то новом и прекрасном*, которое, хотя я не могу передать так, как оно сказывалось мне, а постараюсь передать так, как я воспринимал его — все мне говорило про красоту, счастье и добродетель, говорило, что как то, так и другое легко и возможно для меня, что одно не может быть без другого, и даже, что красота, счастье и добродетель — одно и то же».

Иртенев мечтает о своей новой жизни:

«... в точности буду исполнять все (что было это «все», я никак бы не мог сказать тогда, но я живо понимал и чувствовал это «все» разумной, нравственной, безупречной жизни)».

А вот описание подобного пробуждения идеала у другого героя, двадцатичетырехлетнего Оленина — лица, к которому автор отнесся более строго, чем к Иртеневу. Оленин в лесу задает себе

вопрос: «как же надо жить, чтобы быть счастливым, и отчего он не был счастлив прежде?»

И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастье вот что, — сказал он сам себе, — счастье в том, чтобы жить для других. И это ясно. В человека вложена потребность счастья, стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то есть, отыскивая для себя богатства, славы, удобств жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаниям. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение!» Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему казалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить» (ч. II, стр. 183).

Как все это молодо и благородно! Несмотря на то, что автор не только не льстит этим юношам, а напротив, почти готов отнестись к ним комически (чисто комического отношения, как мы заметили, у него не бывает, потому что это — не свободное, самообладающее творчество), нельзя не сочувствовать этим порывам. «Бог один знает, — говорит с сомнением автор, — точно ли смешны были эти благородные мечты юности»; но в другом, более объективном месте гр. Толстой ясно высказывает, какую цену имеют эти мечты.

«Этот-то голос раскаяния и страстного желания совершенства и был главным новым душевным ощущением в ту эпоху моего развития, и он-то положил новые начала моему взгляду на себя, на людей и на мир Божий. Благий, отрадный голос, столько раз с тех пор, в те грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной лжи и разврата, вдруг смело восстававший против всякой неправды, злостно обличавший прошедшее, указывавший, заставляя любить ее, ясную точку настоящего и обещавший добро и счастье в будущем — благий, отрадный голос! Неужели ты перестанешь звучать когда-нибудь?» (ч. I, стр. 86).

Есть люди, у которых никогда не звучал этот голос; есть такие, у которых он звучит в известную пору, но легко заглушается голо- сом нужд, страстей, привычек и примеров окружающей жизни; чаще же всего люди, подавляемые жизнью, чувствуют смирение перед нею, не смеют становиться выше ее и предлагать ей требования, считают дерзостью возложить и на себя большие надежды и потому слепо влекутся обстоятельствами, смутно сознавая, что должна быть какая-то другая жизнь, которая, однако, им не по силам.

Но у героев гр. Толстого голос идеала звучит громко и не дает им никогда успокоиться. Один из них, чувствуя, что мелкие страсти и привычки совершенно завладели его душою, стал так для себя гадок, что застрелился. («Рассказ маркера»). Все они приступают к себе и к жизни с огромными требованиями; у всех постоянно шевелится в душе вопрос, который рано задал себе Николай Иртеньев: «Зачем все так прекрасно, ясно у меня на душе и так безобразно выходит на бумаге и вообще в жизни, когда я хочу применять к ней что-нибудь из того, что думаю?..»

Тут нам следовало бы привести целый ряд комических явлений с молодыми людьми гр. Толстого — явлений, впрочем, очень обыкновенных у всякого рода молодых людей. Явления эти состоят в том, что юноши прикидываются взрослыми людьми, обнаруживают интересы, желания, потребности, которых не имеют, волнуются чувствами, которых не питают, одним словом, *напускают* на себя всякого рода содержание, которого еще лишены их юные души. Николай Иртеньев рассказывает про себя:

«Я продолжал считать своею неперемною обязанностию скрывать от всего общества Нехлюдовых, и в особенности от Вариньки, свои настоящие чувства и наклонности, и старался выказывать себя совершенно другим молодым человеком от того, каким я был в действительности, и даже таким, какого не могло быть в действительности» (ч. I, стр. 136).

Подобных обезьянничаний приведено множество в рассказах гр. Толстого. Смысл явлений так прост, что не нуждается ни в каком пояснении. Комизм — вот единственное правильное отношение к ним; но замечательно, что именно этого-то отношения и не устанавливается у гр. Толстого. Очевидно, комизм был бы возможен только в том случае, если бы у юношей, о которых идет речь, наряду с фальшивыми проявлениями постепенно возрастали и усиливались действительные чувства, желания и потребности. Тогда эта действительная душевная жизнь могла бы утешить человека в том, что он в иных случаях поддался фальши, и дать ему надежду, что он, наконец, навсегда избавится от фальши. Но, к несчастью, здесь нет этого утешения и этой надежды. Герои гр. Толстого чувствуют, что в душе их нет живых движений, и потому с горестию и унынием видят в себе одну фальшь. Прекрасный идеал, который они носят в душе, заставляет их страдать от той фальши, которой другие предаются с увлечением и о которой вспоминают потом со смехом. Какое глубокое недовольство собою должен был чувствовать Николай Иртеньев, например, при таком собственном поведении:

«Вспомнив, как Володя целовал прошлого года кошелек своей барышни, я попробовал сделать то же; и действительно, когда я один вечером в своей комнате стал мечтать, глядя на цветок, и прикладывал его к губам, я почувствовал некоторое приятно-слезливое расположение и снова был влюблен или так предполагал в продолжение нескольких дней» (ч. I, стр. 132).

Бедный мальчик! Он, очевидно, ясно чувствует фальшь, которой Володя, конечно, предавался, не задумываясь, как будто дело делал.

Откуда же, спрашивается, такое отсутствие живых интересов и потребностей у этих юношей? Мы уже указывали на отсутствие умственных и нравственных влияний, среди которых они развивались. Внешние их обстоятельства давали им полную возможность жить особняком, не связывая себя тесно ни с какими людьми, ни с каким определенным делом. Вот как автор описывает положение Оленина:

«В восемнадцать лет Оленин был так свободен, как только бывали свободны русские богатые молодые люди сороковых годов, с молодых лет оставшиеся без родителей. Для него не было никаких, ни физических, ни моральных оков; он все мог сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал» (ч. II, стр. 153).

Другой герой следующим образом указывает на то, как понятия, среди которых он воспитывался, отрывали его от действительности:

«Ни потеря золотого времени, употребленного на постоянную заботу о соблюдении всех трудных для меня условий *comme il faut*, исключаящих всякое серьезное увлечение, ни ненависть и презрение к девяти десятым рода человеческого, ни отсутствие внимания ко всему прекрасному, совершающемуся вне кружка *comme il faut*, все это еще было не главное зло, которое мне причинило это понятие. Главное зло состояло в том убеждении, что *comme il faut* есть самостоятельное положение в обществе, что человеку не нужно стараться быть ни чиновником, ни каретником, ни солдатом, ни ученым, когда он *comme il faut*, что, достигнув этого положения, он уже исполняет свое назначение и даже становится выше большей части людей.

В известную пору молодости, после многих ошибок и увлечений, каждый человек обыкновенно становится в необходимость деятельного участия в общественной жизни, выбирает какую-нибудь отрасль труда и посвящает себя ей; но с человеком *comme il faut* это редко случается. Я знал и знаю очень, очень многих лю-

дей старых, гордых, самоуверенных, резких в суждениях, которые на вопрос, если такой задается им на том свете: «Кто ты такой? И что ты там делал?» — не будут в состоянии ответить иначе, как: «*Le fus un homme très comme il faut*»⁸.

Эта участь ожидала меня» (ч. I, стр. 124).

Из этого видно, что пустая, бессодержательная среда не давала этим юношам никакой точки опоры, никакого живого, теплого прикосновения к действительности. Но это только внешнее условие или возможность для их особого развития. Внутреннее, существенное условие, по которому они не стали в ряды *очень и очень многих*, почему они были выброшены из своей среды и почувяли в себе такую страшную пустоту, заключается в их душевном пробуждении, в том порыве к идеалу, от которого начинается разлад их жизни.

«Бывают люди, — замечает автор, — лишенные этого порыва, которые сразу, входя в жизнь, надевают на себя первый попавшийся хомут и честно работают в нем до конца жизни».

Вся беда наших героев в том и заключается, что они нисколько на таких людей не похожи и, например, прежде всего сбрасывают с себя хомут *comme il faut*, в котором многие чувствуют себя так счастливо.

«Оленин, — рассказывает автор, — раздумывал над тем, куда положить всю силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке, тот неповторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть *сделать из себя все, что он хочет, и, как ему кажется, и из всего мира все, что ему хочется*».

Оленин слишком сознавал в себе присутствие этого всемогущего бога молодости, эту способность превратиться в одно желание, в одну мысль, способность захотеть и сделать, броситься головой вниз в бездонную пропасть, не зная за что, не зная зачем».

Итак, вот каковы герои гр. Толстого. Это не худшие наши люди, а скорее лучшие. Это исключения из нашей жизни, но исключения, порожденные самою нашею жизнью, ее пустотою и бессодержательностью. В них проснулась неумирающая душа человеческая, они почувствовали в себе порыв к идеалу, услышали его зовущий голос. Они пошли за ним и попали в тот тяжелый разлад с самим собою и с окружающими людьми, который составляет главную тему гр. Толстого. При свете своего идеала они сами себе кажутся пустыми и мертвенными, а окружающая их жизнь является им темною и мелкою.

Что же делают герои графа Толстого? Они буквально бродят по свету, нося в себе свой идеал, и *ищут идеальной стороны жизни*. Они мучительно заняты решением самых общих и, по-видимо-

му, очень наивных вопросов такого рода: существует ли на свете истинная дружба, существует ли истинная любовь к женщине, существует ли высокое наслаждение природою или искусством, существует ли истинная доблесть; например, храбрость на войне? Эти вопросы, которые мы обыкновенно считаем признаком пошлости человека, их задающего, пошлости у нас очень обыкновенной и всем знакомой, эти вопросы не стыдятся задавать себе юноши гр. Толстого, потому что для них это мучительные вопросы, потому что они во что бы то ни стало хотят увидеть собственными глазами ту прекрасную сторону жизни, о которой они слышали и к которой их влечет внутреннее чувство. Двадцатичетырехлетний Оленин подъезжает к Кавказским горам.

«Оленин с жадностью стал вглядываться, но было пасмурно, и облака до половины застилали горы. Оленину виднелось что-то серое, белое, курчавое; как он ни старался, он не мог найти ничего хорошего в виде гор, про которые столько читал и слышал. Он подумал, что горы и облака имеют совершенно одинаковый вид и что особенная красота снеговых гор есть такая же выдумка, как музыка Баха и любовь к женщине, в которые он не верил».

Но недаром же он приехал на Кавказ, а не остался в Москве, вместе с Сашкой Б. ... — флигель-адъютантом и князем Д. ... На другое же утро он почувствовал всю бесконечность красоты гор. Но если горы достались так легко, то в других случаях приходилось вынести долгое искание и тысячи тяжелых колебаний, прежде чем жизнь открывала свою таинственную красоту.

Бедная, бедная жизнь! Так ли ты уже дурна и темна на самом деле, что каждую прекрасную черту твою нужно отыскивать, как клад, зарытый в глубоком подземелье? Или же эти люди, жаждущие твоей красоты, почему-то поражаются слепотою и неспособны увидеть то, что прямо перед их глазами? Они слышат, они читают про какой-то дивный мир, где есть любовь к женщине, музыка Баха, красота природы; но, хотя женщин вокруг них много, — они не любят кого-нибудь из них, музыка звучит — они не чувствуют восторга, природа перед глазами — они ее не видят.

Отыскивая по свету идеальную сторону жизни, герои графа Толстого нередко приходят в отчаяние, нередко теряют веру в то, что они когда-нибудь достигнут цели. В сочинениях графа Толстого много есть мест, выражающих полное неверие в жизнь, признание ее совершенного ничтожества, совершенного отсутствия в ней идеала. У него встречается, например, отрицание любви, нисколько не уступающее тому неверию, которое г. Писемский выразил относительно Ромео и Юлии. В «Юности» есть глава, которая называется *Любовь*. В ней Николай Иртенев порешает дело так:

«Есть три рода любви:

- 1) Любовь красивая,
- 2) Любовь самоотверженная и
- 3) Любовь деятельная

Я говорю не о любви молодого мужчины к молодой девушке и наоборот; я боюсь этих нежностей, и был так несчастлив в жизни, что никогда не видал в этом роде любви ни *одной искры правды*, а только ложь, в которой чувственность, супружеские отношения, деньги, желание связать или развязать себе руки до того запутывали самое чувство, что ничего разобрать нельзя было».

Это настоящий взгляд г. Писемского. Отвергается именно та любовь, к разряду которой относится любовь Ромео и Юлии. Остальные три рода любви тоже оказываются фальшью. Вот, например, заметка о любви красивой:

«Смешно и странно сказать, но я уверен, что было очень много и теперь есть много людей известного общества, в особенности женщин, которых любовь к друзьям, мужьям, детям сейчас бы уничтожилась, ежели бы им только запретили про нее говорить по-французски» (ч. I, стр.112).

Во втором рассказе о Севастополе — рассказе, где автор с поразительным мастерством изобразил сцены мелочных страстей, тщеславия, зависти, трусости, скупости и т. д., которые он нашел в том месте, где, казалось бы, можно было найти только невыразимо-величественную и грозную эпопею, гр. Толстой усомнился в достоинстве души человеческой и заключает свой рассказ так:

«Вот я и сказал, что хотел сказать на этот раз. Но тяжелое раздумье одолевает меня. Может быть, не надо было говорить этого; может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из *тех злых истин*, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быгг высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его.

Где выражение зла, которого должно избегать, где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны» (ч. II, стр. 61).

Злые истины, о которых говорит здесь автор, встречаются у него беспрестанно. Это — большое место в душе его героев, до которого они любят дотрагиваться. Тема этих злых истин одна — ничтожество и малодушие человеческого племени. Доказывается эта тема всегда одинаковым образом, именно тем, что герои ловят себя постоянно на отступлении от своего идеала, на том, что не выдерживают своих благороднейших планов и предположений. Они так любят свои высокие мечтания, что ни за что не хотят от них отказаться, так что противоречие жизни этим мечтаниям

огорчает их до глубины души и наводит на самые мрачные идеи. Иногда это выходит комически, как огорчение от неисполнения совершенно чуждых действительности желаний. Вот, например, мрачные размышления Николая Иртеньева:

«Мой друг был совершенно прав; только гораздо, гораздо позднее и я из опыта жизни убедился в том, как вредно думать и еще вреднее говорить многое, кажущееся очень благородным, но что *навсегда должно быть спрятано от всех в сердце каждого человека*, — и в том, что *благородные слова редко сходятся с благородными делами*. Я убежден в том, что уже *по одному тому, что хорошее намерение высказано*, трудно, даже большею частью невозможно, исполнить это хорошее намерение. Но как удержаться от высказывания благородно-самодовольные порывы юности? Только гораздо позднее вспоминаешь об них, как о цветике, который — не удержался, сорвал не распустившимся и потом увидел на земле завялым и затоптанным.

Я, который сейчас только говорил Дмитрию, своему другу, о том, чем деньги портят отношения, на другой день утром, перед нашим отъездом в деревню, когда оказалось, что я промотал все свои деньги на разные картинки и стамбулки, взял у него двадцать пять рублей ассигнациями на дорогу, которые он предложил мне, и потом очень долго оставался ему должен».

Экая беда, в самом деле, эти двадцать пять рублей! И как отсюда ясно следует, что благородных намерений не следует высказывать, а если раз выскажешь, то уже потом никак не исполнишь!

Эти фантастические страдания тем не менее суть страдания; они свидетельствуют все о том же — о силе идеальных стремлений, которым преданы эти юноши, слишком много требующие от себя и от жизни. Они строго судят людей и себя; но у них нет никакого руководства, которое бы научило их различать добро от зла, давало бы им ясно видеть, что любить и что презирать. Юноша, который мучится избытком благородных чувств и намерений — собственно есть очень милое явление, разумеется, как задаток. Но если этот задаток не развивается, если его мечты не получают со временем определенных форм, если в душе его не возникает живых потребностей, которые подсказали бы ему, что любить и что ненавидеть, то это будет болезненное явление пустой, холодной жизни. Для князя Д. Нехлюдова в «Люцерне» мир все еще представляется хаосом.

«Кто определит мне, — спрашивает он, — что свобода, что депотизм, что цивилизация, что варварство? И где границы одного и другого? У кого в душе так непоколебимо это мерило добра и зла, чтобы он мог мерить им бегущие факты?»

Чем же оканчиваются, и оканчиваются ли вообще, все эти волнения, сомнения и колебания? Находят ли, наконец, эти люди в себе и в других ту идеальную сторону жизни, по которой они так мучатся? Как мы уже заметили, дело не останавливается на полном отчаянии, к которому они иногда приходят. Для них открываются проблески истинной жизни, истинной духовной красоты, большею частию не в них, а в других людях, которых они в своем упорном искании идеала наконец начинают ценить и любить. Таким образом, они приобретают веру, что красота жизни существует, что есть души, вполне сохраняющие достоинство человека, вполне достойные сочувствия.

Особенно подробно и полно разработан у графа Толстого вопрос о *храбрости*, о том, как *делается война*, по выражению одного из лиц его севастопольских рассказов, Козельцова, т. е. как она делается по отношению к неделимым, к душе лиц, тем или другим путем попавших на театр войны. Начинается разработка этого вопроса с повести «Набег», а концом разработки можно считать «1805 год» *, где, во второй части, война изображена уже с полным мастерством, с полным знанием дела, с полным обладанием предметом. Центр же, поворотную точку, где достигнута наконец *суть* дела, где храбрость найдена лицом к лицу, составляет последний севастопольский рассказ.

В «Набеге» выведен на сцену *волонтер*, который, как подобает герою графа Толстого, ищет проявлений истинной жизни и потому просится в дело, чтобы видеть, проявляется ли и как проявляется храбрость. Его отговаривают.

«— И чего вы не видали там? — продолжал убеждать меня капитан. — *Хочется вам узнать, какие сражения бывают?* Прочтите Михайловского-Данилевского «Описание войны»⁹ — прекрасная книга: там все подробно описано — и где какой корпус стоял, и как сражения происходят.

— Напротив, *это-то меня и не занимает*, — отвечал я.

— Ну, так что же? вам просто хочется, видно, посмотреть, как людей убивают!.. Вот в тридцать втором году был тут же неслужащий какой-то, из испанцев, кажется. Два похода с нами ходил, в синем плаще в каком-то... таки ухлопали молодца. Здесь, батюшка, никого не удивись!»

* Вот полное заглавие этой книги: *Тысяча восемьсот пятый год. Гр. Льва Толстого. Две части. Москва, 1866.* Это не что иное, как начало «Войны и мира», до Шенрабенского сражения включительно.

Немудрено, что этот истинно прекрасный человек, капитан Хлопов, не понимает, чего хочется волонтеру. Для него не существует душевного вопроса, который мучит молодого человека. Для него *храбрость* такое же простое и ясное понятие, как и все другие, и он понимает «Описание» Михайловского-Данилевского. Волонтер же не понимает этого слова, как и многих других, о которых *слышал и читал*. Это сейчас и оказывается из его расспросов.

— Что, он *храбрый* был? — спросил я капитана (про испанца).

— А Бог его знает; все бывало впереди ездит; где перестрелка, там и он.

— Так, стало быть, *храбрый*, — сказал я.

— Нет, это не значит *храбрый*, что суется туда, где его не спрашивают...

— *Что же вы называете храбрым?*

— Храбрый, храбрый, — повторил капитан с видом человека, которому в первый раз представляется подобный вопрос...» (ч. II, стр. 7).

Вопрос этот никогда не беспокоил капитана, между тем как он глубоко тревожит волонтера. И вот волонтер напряженно присматривается к тому, как держат себя различные лица во время похода и дела.

«Я с любопытством вслушивался в разговоры солдат и офицеров и внимательно всматривался в выражения их физиономий; но решительно ни в ком я не мог заметить и тени того беспокойства, которое испытывал сам: шуточки, смехи, рассказы выражали общую беззаботность и равнодушие к предстоящей опасности» (ч. II, стр.11).

Испытывая сам некоторое чувство страха, он видит лицом к лицу все проявления мужества и удивляется им, но еще не понимает их. В одном месте он прямо и говорит: я совершенно ничего не понимал (там же, стр. 12).

Стараясь, однако же, решить, которое из этих различных явлений храбрости достигает совершенной полноты, которое представляет настоящее воплощение идеала, волонтер останавливается в заключение на капитане Хлопове:

«В фигуре капитана было очень мало воинственного; но зато в ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. «Вот кто истинно храбр», — сказалось мне невольно.

Он был точно таким же, каким я всегда видел его.

Легко сказать: таким же, как и всегда; но сколько различных оттенков я замечал в других: один хочет казаться спокойнее, другой суровее, третий веселее, чем обыкновенно; по лицу же капитана заметно, что капитан и не понимает, зачем казаться».

Вот первое решение вопроса, очевидно, весьма слабое и недостаточное. Капитан Хлопов, конечно, прекрасный и храбрый человек; но не все же могут быть так просты, как он. Может быть, храбрыми могут быть и люди, которые понимают несколько больше его, которые понимают, *зачем казаться*, задавали себе вопрос: *что такое храбрый*, равно как и многие другие вопросы, никогда не приходившие в голову капитана Хлопова.

Итак, требуются новые этюды. Автор рисует множество людей, менее спокойных, чем капитан, волнуемых страхом при виде опасности, иных совершенно поддающихся этому страху, других успешно борющихся с ним, и многих вполне и блистательно подавляющих это чувство и владеющих собою. Среди этого анализа попадаетея и *злая истина* на своем надлежащем месте. В «Рубке леса» юнкер рассказывает свой разговор с ротным командиром Болховым, который «имел состояние, служил прежде в гвардии и говорил по-французски». Этот Болхов объявляет юнкеру, что он не способен к кавказской службе.

«— Я,— говорит он,— не могу переносить опасности... просто, я не храбр...

Он остановился и посмотрел на меня без шуток» (ч. II, стр. 27).

Болхов, очевидно, трус, до того падающий духом, что уже не может владеть собою. Казалось бы, подобное малодушие должно было неприятно подействовать на юнкера. Между тем вот разговор, который происходит между ними в тот же день:

«Болхов с улыбкой посмотрел на меня.

— А я думаю, вам очень странным показался наш разговор утром,— сказал он.

— Нет, *отчего же?* Мне только показалось, что вы слишком откровенны: *есть вещи, которые мы все знаем, но которых никогда говорить не надо*».

То есть все мы трусы, да только нельзя же об этом рассказывать. Бедный юноша! Он, очевидно, испуган не опасностью, а тем, что чувствует в душе своей страх, несмотря на свое отвращение от этого чувства и желание подавить его. Стыдливо скрывает он свою внутреннюю благородную борьбу, и когда малодушный и мелочный Болхов открывает ему свою трусость, он не смеет укорить его, ставит себя с ним наравне и называет и себя трусом.

Много и других проявлений малодушия анализировано автором с его необыкновенным мастерством. Черты тщеславия и других мелких страстей, разыгрывающихся среди самого разгара битв и великих событий, тоже выставлены, как явления, подрывающие веру в достоинство души человеческой. Человек доблестный среди битвы — через минуту становится мелочным в обыкно-

венной жизни. Что же такое эта доблесть, так быстро уступающая место малодушию? На эту тему, как мы уже упоминали, написан второй севастопольский рассказ. Но Севастополь взял-таки свое. В третьем, последнем севастопольском рассказе уже вполне разрешен вопрос: что такое храбрость. Этот рассказ писан уже полною художественною манерою, тою же самою, которою писан «1805 год». В рассказе «Севастополь в августе 1855 года» уже твердо записано важное замечание, «что страх, как и *каждое сильное чувство*, не может в одной степени продолжаться долго» (ч. II, стр. 79).

Замечание весьма важное для того наивно-идеального взгляда, который готов потребовать, чтобы человек постоянно питал весьма сильные и весьма благородные чувства.

По обыкновению автор и здесь рисует свои лица со всею правдивостию, изображает все их мелочные слабости, всевозможные переходы от доблести к малодушию. Он рассказывает, например, как накануне битвы офицеры в оборонительной казарме играют в карты. Они жадничают, злятся, наконец, завязывается ссора. Автор перестает рассказывать.

«Опустим,— говорит он,— скорее занавесу над этой сценой. Завтра, нынче же, может быть, каждый из этих людей *весело и гордо* пойдет навстречу смерти и умрет *твердо и спокойно*; но одна отрада жизни в тех ужасающих самое холодное воображение условиях отсутствия всего человеческого и безнадежности выхода из них, одна отрада есть — забвение, уничтожение сознания. *На дне души каждого лежит та благородная искра, которая сделает из него героя: но искра эта устает гореть ярко — придет роковая минута, она вспыхнет пламенем и осветит великие дела*».

Итак, вот разгадка! Вот объяснение возможности героизма и признание его действительного существования. Стыдливый юнкер и бесстыдный трус Болхов уже никого не заставят усумниться в возможности доблести в душе человеческой.

Само собою разумеется, что присутствие душевной доблести не могло быть подвергнуто сомнению гр. Толстым в простом народе, не в среде юнкеров, волонтеров и офицеров, а в среде простых солдат. Здесь дело было столь же ясное, как и относительно капитана Хлопова. Храбрость была налицо, и оставалось только изучать ее. В этом отношении найдется немало прекрасных изображений у гр. Толстого. Величие народного духа особенно поражает в *первом* севастопольском рассказе «Севастополь в декабре 1854 г.». Это как будто первое неотразимое впечатление, которое потом забылось в силу постоянного и неизменного присутствия предмета, его производившего, так что явилась возможность воз-

никнуть колебаниям и грусти *второго* рассказа. Но, очевидно, заключение первого рассказа годится и для всех трех.

«Надолго, — оканчивает автор, — оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой *героем был народ русский...*»

Итак, герой найден, наконец. Герой несомнительный, в котором ни разу не приходилось усумниться, рассказывая о котором, нельзя было ни разу окончить правдивую повесть грустным вопросом: «кто же герой этой повести?»

Нам довелось бы долго черпать в книге, столь богатой поэзией и наблюдательностью, как сочинения гр. Толстого, если бы мы вздумали проследить другие черты душевной жизни тех героев автора, на которых устремлено его главное внимание, то есть детей нашего общества, Иртеньевых, Олениных, князей Нехлюдовых и пр. Они больны, эти люди, одною болезнью — пустотою и мертвенностью души. Но у них в душе несомненно таится *благородная искра*, которая стремится вспыхнуть пламенем и только почему-то не находит пищи для своего огня. Если бы эта искра вспыхнула, она озарила бы прекрасную душевную жизнь; стремление к этой жизни составляет мучение этих душ.

Насколько наш общий духовный склад, наше образование, образ мыслей и чувств или отсутствие мыслей и чувств в нашем обществе содействует порождению таких болезненных явлений, — вопрос, который мы не будем решать, но который ясно затрагивается этими явлениями.

Но еще интереснее вопрос: какие живые начала обнаруживает здесь русская душа, какой нравственный и эстетический склад она проявляет, выбиваясь из-под какого-то давящего ее недуга?

принял ряд политических авантюр; в 1848 г. добился избрания президентом Франции. В результате контрреволюционного переворота был провозглашен в 1852 г. императором, после чего установил в стране режим жестокой диктатуры. Написал несколько панегирических брошюр о Наполеоне I, которому приписывал радикальные решения многих социальных проблем. Эти брошюры способствовали распространению в широком общественно-литературном обиходе понятия «бонапартизм».

Л. Н. ТОЛСТОЙ СОЧИНЕНИЯ ГР. Л. Н. ТОЛСТОГО. В ДВУХ ЧАСТЯХ.

Впервые опубликовано: «Отечественные записки», 1866. № 12.

Печатается по тексту книги: *Страхов Н.* Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885). 4-е изд. Киев, 1901.

¹ *Аристофан* (ок. 446—385 до н.э.) — древнегреческий комедиограф, борющийся против новых общественных тенденций, расшатывавших устои афинской демократии.

² Строки из стихотворения Пушкина «Демон» (1823).

³ Страхов неточно цитирует строки из романа Пушкина «Евгений Онегин» (глава 8, строфа XII). У Пушкина:

До двадцати шести годов,
Томясь в бездействии досуга,
Без службы, без жены, без дел,
и т. д.

⁴ Неточная цитата из «Евгения Онегина» (глава 1, строфа VI). У Пушкина: «Но дней минувших анекдоты...».

⁵ *Comme il faut* — приличный, порядочный (фр.).

⁶ *Comme il ne faut pas* — неприличный (фр.).

⁷ «Она, казалось — верный снимок *Du comme il faut...*» — неточно цитируются строки из романа Пушкина «Евгений Онегин» (глава 8, строфа XIV).

⁸ ... *je fus un homme très comme il faut* — я был чрезвычайно приличным человеком (фр.).

⁹ Имеется в виду книга военного деятеля и историка *Михайловского-Данилевского* А. И. (1790—1848) «Описание войны 1813 года» (части 1, 2. СПб., 1840).

ВОЙНА И МИР. СОЧИНЕНИЕ ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО. ТОМЫ I, II, III и IV.

Статья первая

Впервые опубликовано: «Заря». 1869. № 2.

Печатается по тексту книги: *Страхов Н.* Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885), 4-е изд. Киев, 1901.

¹ Эти суждения высказаны П. Я. Чаадаевым в «Первом философическом письме» (Телескоп. 1836. № 15).

² См. размышления Литвинова в романе И. С. Тургенева «Дым» (гл. XXVI).

³ Говоря так, Страхов, вероятно, мог вспомнить не только статью Ан. Григорьева «Граф Л. Толстой и его сочинения» (Время. 1862. № 9), но и статьи и отзывы о Л. Толстом, появившиеся в печати в 1850—1860 гг., в частности статью П. В. Анненкова «О мысли в произведениях изящной словесности» (Современник. 1855. № 1),